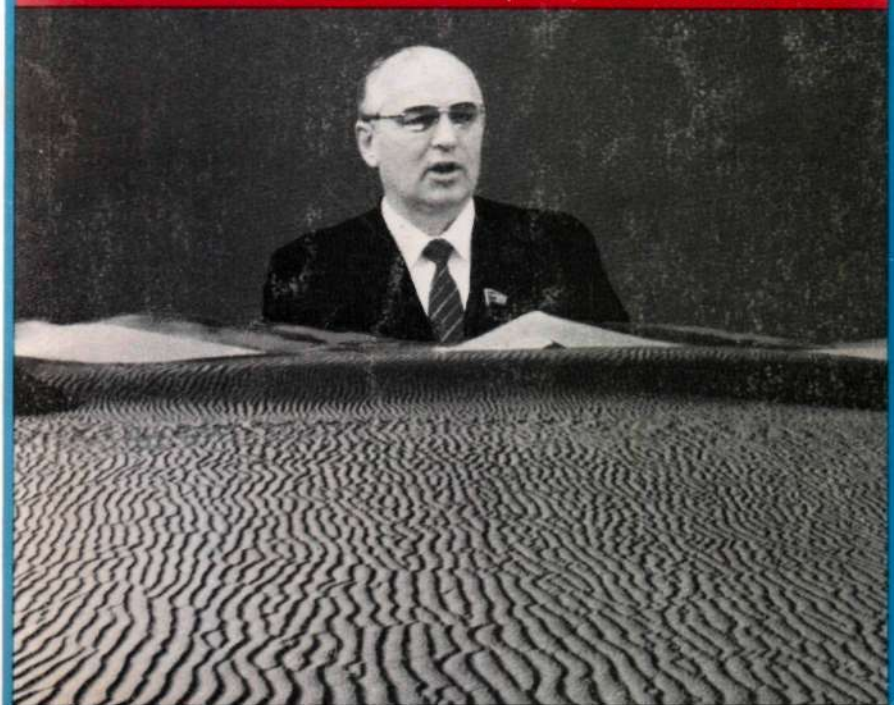


ВРЕМЯ ШЛДБ 98 1987

ГЛАСНОСТЬ ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ



ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН ЭНЕРГИЯ ВОЖДА И БЕЗМОЛВСТВУЮЩИЙ НАРОД

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Тринадцатый год издания.

Выходит один раз
в два месяца

98
1987

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ
ДЖОН ГЛЭД
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**

**ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД**

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boiedieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

В камышах. Рыжуха. Давид и Голиаф.....5

Людмила РАЙЗ

Отправь меня в Россию.....36

Борис БОЛЬШУН

Бой-френд Маноля.....49

Давид ЗИЛЬБЕРМАН

Арнольд и Буби.....62

ПОЭЗИЯ

Михаил КРЕПС

Чудеса двадцатого века.....74

Ирина МУРАВЬЕВА

Меж ребер в темноте.....84

ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. ФИЛОСОФИЯ

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

Энергия вождя и безмолвствующий народ.....88

Ефим ЭТКИНД

Наши и чужие берега.....102

Н. БЕРДЯЕВ

Христианство и антисемитизм.....118

Вирджиния ВУЛЬФ

Русская точка зрения.....140

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Юрий ЛЮБИМОВ

Правители и народ. Интервью проф. Дж. Глэда.....165

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Б. И. НИКОЛАЕВСКИЙ

Разговоры с Бухариным.....180

Из книги друзей — Виктору Некрасову.....212

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ

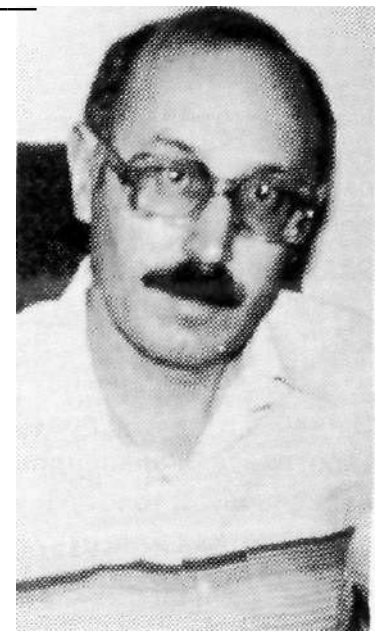
О гласности и эмигрантских перепалках.....226

Голос из чрева китова.....231

Русская эмиграция и «советская русскость».....235

ПРОЗА НОВЫХ АВТОРОВ

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей рассказы четырех наших новых авторов: Давида Шраера-Петрова, Людмилы Райз, Бориса Большуна и Давида Зильбермана. За исключением Бориса Большуна (опубликовавшего рассказ в 90 номере) все они выступают в нашем журнале впервые. Взыскательный читатель, разумеется, найдет неодинаковым уровень предлагаемых рассказов. Разная степень дарования и профессионализма отличает их авторов. Все это естественно. Тем более в условиях, когда эмигрантские литераторы оторваны друг от друга, когда отсутствует взыскательная литературная критика, когда, наконец, сама эмигрантская действительность не способствует росту писательских сил. Но именно поэтому и важно, с нашей точки зрения, поддерживать начинающих авторов, чей поиск и усилия свидетельствуют, что даже в трудных условиях изгнания не прекращается литературный процесс.



Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

В КАМЬШАХ

ФАНТЕЛЛА

Славненькая у нас подобралась компания: Лиловый, Челюсть, Смычок, Скалапендра и я — Рогуля, или Рыгуля, смотря по обстоятельствам.

В Камыши мы сползаем ежегодно, в конце лета, и держимся друг друга до времени затяжных дождей. Потом рассеиваемся по Великому Пространству до будущего сезона. Откуда кто из нас появлялся, никто никому не рассказывает. Не принято. Да и небезопасно. Принято в нашем сообществе предаваться воспоминаниям давностью лет в пять, не меньше. «Когда гуано минерализуется», — пояснил когда-то Челюсть. Мы согласились с этим. Почему мы сползаем каждый год и непременно в Камыши? Не в карстовую пещеру. Не в соленую яму. Не в катакомбы. Не к благословенным жирным лиманам. В Камыши. На побережье Чухони. Под августовское северное небо. И толчемся здесь, пока голубой и высокий шар неба не тускнеет и опадает, оцарапанный бродячим котом неизбежности. Мы наслаждаемся

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©«Время и Мы»

ISSN 0737-7061

превращением красоты лета в уродливость осени. И не так страдаем от своих бед. Преждевременно выпавшие дожди, ранняя грязь и сладкая тоска гниющих камышовых корней радует нас. Мы не одни. Не только с нами. Все тленно.

Подальше от Камышей на желтом песке греются пляжники. Лижут айскремы. Лупят друг друга мячами. Смывают в Чухонском заливе пот и лень. Мы никогда не ходим к ним. И никого к себе не подпускаем. Об этом года три назад позаботилась Скалапендра. До сих пор слышу пороссячий визг чернохвостой толстухи из пляжников. И вой «скорой помощи». И четкая зона отчуждения, образовавшаяся вокруг Камышей с тех пор.

Когда мы сползаемся, сходимся, сбегаясь по утрам в Камыши из наших ночлежек, пляжники ежатся и закутываются в полосатые полотенца и цветастые халаты. Только бы не попадаться нам на глаза.

Один Замок, белеющий на Холме, не дает нам покоя. Мы сидим в Камышах. Толкуем о том о сем. Чаще о легендах давней давности. Иногда шмыгаем влажной тропинкой к воде. И не смотрим на Пляж. Замок висит над нами и пляжниками, как камень: белая громадная скала, готовая сорваться с Холма. У нас вражда с Замком. Мы ненавидим Замок, пляжники — боятся. В Замке презирают нас и пляжников. Хотя и в презрении есть свои оттенки. Мы кажемся обитателям Замка мерзкими и бесполезными. Пляжники — ничтожными и терпимыми.

Наша компания образовалась лет девять-двенадцать назад. Трудно назвать другое сообщество, состоящее из столь несходных персонажей. Скажем, Скалапендра. Так и знал, что начну с нее. Что ни говорите, давняя привязанность. Роковая. Отравленная ядом любви. И все же наступлю на горло. Пересилю себя. Отложу описание Скалапендры до поры до времени. Начну с Лилового. Сначала портрет. Словесный портрет. Жалкое подобие истины. Лиловый появляется в Камышах первым. Первым достигает Чухонска. Захватывает самый отдаленный и дешевый под-

вал, называемый им игриво «бельэтаж». Особенно нежно выходит у Лилового «бель». Выпеваётся грязными губами. Четыре эротических буквы «Б-Е-Л-Ь». Впрочем, и Ж выпевает «ЭТА-Ж». На что Челюсть сплевывает бывало: «Жеманная жопа!» Отвлекся. Лиловый славится разветвлением венозной сети. Кажется, он дышит кожей. Как лягушка. Лиловая, человекоподобная. Лиловый не только дышит. Он питается кожей. Впитывает лиловыми капиллярами запахи. Кулинарии и сортиры остались в Чухонске со времен... С тех времен. В великом множестве. «Деньги к деньгам», — любит повторять Челюсть.

Еще до образования нашего сообщества, нашей компании, нашего камышового братства, Лиловый (бывший тогда обыкновенно бесцветным) выпил бутылку политуры. Его откачали в реанимации. Но кожа осталась выкрашенной навсегда. Во время переписи жителей Великого Пространства не знали, куда его отнести. К нам он прибился пять лет назад, перекочевав в Европу с Дальнего Востока. Из-под Читы, где по вечерам Лиловый кормился вокруг миллиардных столов.

В Чите — знаменитая бильярдная. Шар за борта вылетит — Лиловый подаст. Мелок раскрошится — из кармана новенький достанет. Пустая бутылка гроыхнет — за пазуху припрячет. Лилового жалели. Мать родная ему была неизвестна. Сам-то он обнаружился замотанным в тряпье на крыльце барака. Году в 37. Почему он выбрал Чухонск? За чем прибился к нам? А мы — почему? Зачем? Лиловый пришел сюда за Смычком. Лиловый за Смычком. Смычок — за Челюстью. Челюсть — за Скалапендрой. Скалапендру спас от Замка я. Рогуля, или Рыгуля, смотря по обстоятельствам. Выходит, никто не виноват. Один тянется за другим. Или за другой. А вы говорите — судьба. И тут же статью подыскиваете. Не судьба и не статья. Влечение. Хемотаксис. Вроде магнитного поля. Лиловая стрелочка на север. Смычок с севера прилетел.

Но сначала о Челюсти. Хотя надо бы — о Скалапендре.

Она — та самая Шерше Ля фам. Из-за которой... О, Пэн, которая еще и Скала. И Ля — в веселые минуты. Все эти сокращения придумал Челюсть. О моей бывшей жене. Которую я спас. Но не забывал всего. Болото. Гниение. Кулинарии. Сортиры. Подвалы. Испарения. А ее — не смог. Но и не прогнал. И другие не дали. Все-таки Ля фам.

Биография Челюсти путаная. Маршруты цирка Шапито. Переплетения лишайника. Траектория улья. Эпитеты Челюсти: Железная Челюсть (перегрызает), Золотая Челюсть (побеждает), Мощная Челюсть (приподнимает), Жуткая Челюсть (скрежещет). Киношная Челюсть (играет в мультяшках), Музыкальная Челюсть (отстукивает ритм).

Отфокусничав с цирком одиннадцать месяцев в году, Челюсть отпадает и оказывается в Чухонске, в наших Камышах. Ночует Челюсть в Доме рыбака, давая в дни заездов (пляжники, подверженные рыболовной страсти) сеанс фокусов. После той истории между Пэн и Рогулей (то есть мной) из-за Замка Челюсть еще более вспылал к Скалапендре, но стал осторожнее. Повторял: «Лучше бояться, чем испугаться». А мне все равно. Я к ней охладел. Если бы не тайна, я бросил бы Камыши. Хотя жалко всех этих хануриков. И ее. Пэн. Ля. Скалу. Жаль. Дорого обходится мне это увлечение архитектурой. Дьявольский Замок. Нет, не белая глыба. Корабль. Остановившийся в раздумье среди океана Камышей. Вру. Корабль, остановившийся в раздумье, перед выходом из гавани — владений, окружающих Замок. В Океан Камыша. Занятно придумано. На всякий случай. Мало ли. Стоит, стоит — и пошел. Через Камыши — в Балтику, Такая архитектура! Таинственная. И еще Скапапендра. Рыжеволосая, так что и ресницы из темного золота. Камышинки. И под мышками — золото. И все остальное. Как львица. А глаза невинно-голубого цвета. Под черными бровями. Где у Пэн жало, не знаю. Но свидетельствую, что ядовита. Вот Челюсть прижален. И в Замке случилось. И я — Рогуля. В этом случае Рогуля, это уж точно. У Скалапендры способность вводить разные дозы: приваживающую, ужасающую

и смертельную. Ужасающую — у чернохвостки с Пляжа. А смертельную... Ходят разные слухи. Трепаться опасно. «Когда гуано минерализуется», — говаривал Челюсть.

...Вы думаете мы его Смычком из-за скрипки прозвали? Хотя, конечно, играл. Из хорошей семьи. Школа Соломона Каца. Нет, простите — другая. Скрипачей. Откуда Буся Гольдштейн и Додя Ойстрах. Учился наш Смычок, как все вундеркинды с Дерибасовской. Но ему захотелось легкой жизни. Он придумал для своей пиликалки другое применение. Стоял на шухере. Пока грабили. Появлялась опасность — он играл другое. Бравурное вместо ночной серенады. Танец огня. Или что-нибудь похлеще. В детской колонии Смычок приспособился. Со старшими парнями. Как его Лиловый разглядел? У них, лиловеньких, — свое чутье. А Смычку все до фени. У него идеи. Пока среди болот на Севере прохлаждался, идеи заимел. Лучше бы на скрипке играл. Хотя таскает за собой. Ежедневно со скрипочкой в Камыши заявляется. Ради Челюсти. Он у нас — музыкально одаренный. Ради Челюсти разыгрывает всякие разные вариации. И камыши шуршат и покачиваются. И чайки покрикивают. И куличок вякает. В такт, в лад. Лиловый слезы размазывает по венозным щекам. Посыпает песочек на коленки Смычка. Слушает. И мне приходится слушать всю эту тягомотину. Потому что Пэн вообразила себя нудисткой. И спиной к солнцу. А я на подхвате. «Рогуля!» — зовет Скала. И я должен изловчиться и накинуть покрывало. Быстро. Чтобы у Челюсти протез изо рта не вывалился. И музыка играла. И Лиловый песочком мастурбировал. «Рогуля!» — зовет Скапапендра, и я вскакиваю, как ужаленный, чтобы запеленать ее прелести. Только ноги остаются снаружи, устремленные в сторону Океана. Живот пупком к солнцу. И губы вытянуты, чтобы впиться и дать языку ужалить. Одно мгновение.

Не чаще, чем раз в полчаса, вся компания приходит в возбуждение. Все успевают. Я — накинуть. Челюсть — увидеть. Смычок — сопережить. Лиловый — возбудиться. И

Ла Пэн на спине. Погружается в воспоминания. Замышляет Пирамидки груди. Треугольники подмышек и лобка. Трубочка губ. Я устал от постоянной обязанности. Челюсть домысливает. Реконструирует. Смычок пускается в рассуждения. У Смычка идеи. Он обсуждает с Челюстью марсианские каналы.

— Деточка. — мягко вправляет словцо Лиловый. — деточка, есть только один род каналов, волнующих воображение. И рисует на песке фаллосы. Это хобби Лилового. За что бит неоднократно.

— Весьма занятно, весьма, — одобряет Челюсть новый вариант каналов, которые Смычок планирует прорыть в Камышах.

— Обилие рыбы, единственное, чем могут кормиться марсиане. — заводится Смычок.

— Вы хотите здесь, в Чухонске. повторить Одессу середины двадцатых? — оскаливается Челюсть.

— Я слышал, что в Замке поговаривают о переменах, — настаивает Смычок.

— Дурак ты. Смычок. не выдерживаю я. — Им отвалиться нужно. А ты «перемены»!

Скалапендра не выносит этих научных споров. Терзают они ее. Нутро выворачивают. И за меня боится.

— Потерять вас, Рыгуля. — потерять все для, — резюмирует Челюсть, выводя меня из Круга. Круг среди Камышей — наше ежедневное место общения.

— Не к чему было смешивать виски с шампанским. Ну же! Извергайтесь!

Я и сам это понимаю. И тогда понимал. В Замке. Чертова ее страсть к Архитектору. Ну — кто он был? Исполнитель моих фантеллических идей. Когда вдохновение рождает эмцеквадрат. Никаких атомов. Реактивных топлив. Энергий солнца. Ну если — мое диковинное свойство сродни звездному, тогда. А эти — Хозяева? Они пожелали. Пожелали согласиться со мной. Или пожелали плыть? Я точно знаю, что ни в Хозяевах, ни в Архитекторе не было фантеллизма.

А в Скалапендре? Вот она лежит на спине. Самая солнечная. Самая зловещая. Способная переходить. Кого винить? Архитектора? Он умер. Подозревали Скалапендру. Допрашивали. Кончилось изгнанием из Замка. И отлучением меня. Хотя был приближен. Элитарен. Жена все-таки. Я взял ее на поруки. Прошлые заслуги. Незапятнанность. А кто знает, что произошло между Пэн и Архитектором? Странная моя Ля Скала. Единственное, что я понял. — это ее свойство, родственное моему, ограничено Камышами. Как и мое — Великим Пространством. За пределами — мы обыкновенные пляжники. И никаких переходов. Фантеллизм словно смывается. У Скалапендры — вне Камышей. У меня — за пределами Великого Пространства. Она это знает. И я испытал. В Гонолулу. Жрал, пил, тарачился. И ни шевеления в темени. Где потреблен третий глаз.

— Деточки, это вы все зря вибрируете, — опять вползает в научный диспут Лиловый. — У нас в подвале слух прошел, что Камышам скоро хана!

— Рогуля! — зовет Пэн. Я на подхвате. Все приходят в возбуждение. От слов Лилового. От особенного выкрика-призыва Скапапендры. От ее восхитительных лопаток на стебельке позвоночника. Листьев. Или лопаток турбинки на ручейке. И убегающей к ягодицам светотени.

— Этого быть не может. Нельзя вам — без Камышей. Заткнись, Лиловый!

— Я — только шары подбираю, милая Скала, — поглубел Лиловый.

— Мои каналы! — ахнул Смычок.

— Информация должна быть достоверной, иначе она есть дезинформация, — щелкнул пластмассой Челюсть.

Слова Лилового запали. Ночью в Мансарде Пэн ластилась ко мне:

— Давай, как прежде. До всего. Обними меня. Не бойся.

Я и не боялся. Я знал что способность жалить, фантеллизм Ля ограничен Камышами. Наша мансарда в чухонской дачке. Среди старого города. В глубине яблоневого сада.

Одной рукой я держал яблоко. Перед губами Пэн. А другой — ласкал ее груди. И прикасался к ним губами. И притрагивался зубами.

— Ты яблоко. Белый налив. Я, я тебя. Боишься?

— Тебя нет, гуленыш мой. Любимый. Ты один у меня.

— А... я хотел спросить другое. — А Камыши?

Она поняла про другое. Про другого. Но поняла и правду вопроса.

— Ты и Камыши.

— А кто любимее?

Она толкнула меня коленками в живот и увлекла в себя.

— Ты — Камыши, — лепетала она, пока могла что-то проносить, пока не засмеялась и заплакала одновременно.

Под утро я знал все. Вернее, про ее роман с Архитектором я знал и раньше. Не надо быть фантеллистом, чтобы увидеть в глазах женщины отчуждение и страсть. Я это видел целый год, пока достраивался Замок. Вернее, те самые детали, которые превращали его в Корабль. Вернее, те самые детали, которые превращали его в Корабль, способный преодолевать даже сушу. Хозяева торопили. Мои фантеллические способности были напряжены до предела. И в этом тоже крылась причина моего охлаждения к Ля. И ее соответственно ко мне.

Я не могу в такие периоды ничего, кроме созидания перехода. Фантеллизм и земная любовь несовместимы. Но ведь и она знала, что с Архитектором ненадолго. Что это пройдет. А он вообразил. Нацелился. Я ведь по простоте душевной открыл ему возможности Замка, ставшего Кораблем. Она знала, что ей не жить без Камышей. А мне без Великого Пространства. Хозяевам можно. Вклады. Отчужденность, как и среди Великого Пространства. И пляжникам. Ну, может быть, не всем. Не берусь утверждать. А мне и ей — крышка. Не умрем, но будем влачить. Как в Гонолулу. Вспомнить страшно. Архитектор настаивал. Он зависал над ее коленками, животом, проваливался в нее:

— Узнай последнюю лепнину у Гулливера. И уедем. А там

разбежимся. Мы с тобой. Рогуля — в Гонолулу. Хозяева в Швейцарию.

Слава Богу, я находился в фантеллизме и не поддался. Как стекло кислоте. Но я выходил. Скалапендра знала, что я выхожу. Стремлюсь к ней. И нанесла удар. Архитектора похоронили на городском кладбище. Посмертно увенчали. Назвали улицу. Среди Хозяев поднялся вой, взрыв негодования, потом смятение и страх. Решено было Скалапендру выслать из Замка. Я потащился за ней. И теперь я узнаю про опасность, нависшую над Камышами. Над нашей компанией. Над последним островком. В конце концов — над Скалапендрой. Кем она станет без Камышей? Я понимаю, что наше сближение связано с этим страхом. Ну и что из того! Любовь. Всякое сближение связано. Связь это и есть сближение. Ночной сад. Яблоки и ее груди. И луна. И эта дьявольская сила фантеллизма во мне, которую я не использовал с тех пор, как пошел за Ля Пэн. В изгнание. Хотя мог. И поднималось во мне. Хотя случалось в самых крайних ситуациях. Мальчику ноги отрезало. Дождь с радиоактивным стронцием. Какие-то вязкие унылые строки важного пляжника. Я фантеллировал. Спас. Спас. Спас.

Среди наших — на пяточке — между сточной канавкой и заливчиком, где размножаются пиявки и инфузории, царило уныние.

— Лиловый прав. В городе полно слухов об уничтожении Камышей, — вымолвил Смычок. Впервые он не раскрыл футляра.

— Гробик с младенчиком, деточка спит, — ласкался к нему Лиловый.

— Друзья, нас предали, мы в жопе, — коротко, но правдиво хрустанул Челюсть.

В цвет Лиловому туча поплеывала в наш пяточок. Скалапендра лежала неподвижно, запепенутая в кусок брезента. Если бы она не сказала: «Что ты молчишь, Гуль?» Если бы промолчала. Но ведь не для того и ночные яблоки, которые мы вкушали. Впервые за долгие годы. Все неспроста. По их

представлениям. Но я живу среди них. И заключен в Великое Пространство.

— Вы куда, деточка? Еще рогульками не торгуют, — проводил меня Лиловый. Остальные молчали. Ля Пэн лежала неподвижно.

Я вернулся в Замок. Хозяева ждали меня. Иначе откуда бы лежать пропуску. У них не было дара фантеллизма. Они ориентировались. Что и почем. Архитектор не закончил самую малость. И слава Богу. Тогда — конец Камышам. Замок-Корабль уничтожил бы их, двигаясь к Океану. Скалапендра знала. И ужалила. Но теперь мне ничего не помешает. Есть одна фантеллия. Корабль перелетит над Камышами. Вместе с Хозяевами. И со мной. Гонолулу так Гонолулу. Зато Камыши останутся шуршать и слушать Смычка. И Лиловый — сыпать песочек. И Челюсть — ловить мгновение, когда Пэн поменяет позу. Пляжники ничего не заметят. Корабль выпорхнет из Замка, как птенец. Пляжникам хватит и скорлупки. Для порядка. И легенды о чернохвостке, которую ужалила когда-то моя возлюбленная.

5-13 ноября 1986 г.

РЫЖУХА

От тоски, что жена уехала в командировку на три месяца, Лямпин купил собаку.

Мы подводим итог «купил собаку», но все это приобретение совершалось не в один момент, хотя и на одной тяжелой, выкуривающей его из квартиры и не дающей работать тоске. Лямпин любил жену и ненавидел ее командировки. Предпоследнюю командировку Ирины он перенес особенно тяжело — она пропала на два месяца, сопро-

вождая делегацию инженеров-горняков на Шпицберген. Норвежский никто не знал, и Ирина переводила с английского.

Потом, после ее возвращения, закутавшись лицом в рыжую гриву Ирининых волос, перекатываясь на желтовато-белой шкуре «умки», осознавая, что вся она здесь, с ним, навсегда (он верил, что навсегда), Лямпин понял, на каком краю и над какой пропастью он был без нее. Тогда спас Лямпина друг по Строгановке — театральный художник Нонешвили. Они уехали в Грузию, там Лямпин закружился в застольях и заказах. Боль и тоска притупились. И, когда он заканчивал декорации к «Французскому коттеджу», новой пьесе, готовившейся в Русском театре, пришла телеграмма от жены: «Прилетай, вернулась, Ирина».

На этот раз, во время нынешней командировки жены, он и в самом деле «завис». Два-три загула, начатые в биллиардной ЦДЛ и окончившиеся тяжелым просыпанием среди ночи, питьем «Боржоми», пирамидоном, верчением на кровати, нисколько не разбавляли тоски, а еще сильнее обострили вечную болезнь Лямпина — копание в обстоятельствах их семейной жизни и доказательство (самому себе), что Ирина несчастлива из-за него и с готовностью идет на разрыв, хотя бы командировочный. У них не было детей. По его, Лямпина, вине. Он не позволял себе упрекать Ирину — куда ей, студентке второго курса университета, было предвидеть пропасть, образовавшуюся на всю жизнь, пропасть до сих пор возникающую в снах Лямпина в виде расщелины, укрытой белоснежными простынями (не снегами — простынями). Из пропасти доносился крик Ирины: «Не хочу... не убивайте... оставьте его нам...»

Промаявшись еще два дня, Лямпин полез в книгу для визитных карточек. Когда-то, на именинах у близняшек Рогунских, приходившихся племянницами знаменитому генералу, заказавшему свой портрет на фоне танка и с тех пор подружившемуся с Лямпиным, на именинах у Рогунских Лямпин увидел впервые длинношерстную таксу. «Мать

прямо Иркина, — подтолкнула Лямпина голым плечом мать близняшек Лариса. — И такая же верная. У нее скоро будут щенки. Ах ты, Рыжуха!» — вильнув бедрами, Лариса проскользнула на кухню заваривать чай.

Лямпин дожевывал кусок орехового бисквита, когда к нему подседа хозяйка Рыжухи, странная меланхоличная молодая женщина.

— Я слышала вы хотите щенка?

— Вообще-то благодарю, — в нерешительности посмотрел Лямпин на жену, лениво трепавшую разволокнившуюся, медно-красную шерстку, свисавшую с длинного уха собаки. — Не исключено, что мы решимся. Верно, Иришь?

Жена снисходительно, как могла только она (вздыхнув и улыбнувшись одновременно), взглянула на Лямпина.

— Она так подходит вашей жене. И притом я кровно заинтересована передать будущих малышей в хорошие руки.

Лямпин, загипнотизированный потрясающим сходством цвета (до мельчайших оттенков) волос Ирины и шерсти Рыжухи, слушал монотонный, уговаривающий голос молодой женщины и разглядывал свои, шершавые от растворителей пальцы и нежные, длинные, матово-белые кисти Ирины.

— Может быть, вы и правы, — ответил он хозяйке Рыжухи.

— Надумаете, звоните, — и Лямпину была выдана визитная карточка с адресом, телефоном, фамилией и прочее новой знакомой. На карточке была приписка «Член комитета защиты животных». И нарисована сова.

Лямпины никому не позвонили насчет собаки.

Прошло три года.

И теперь, впад в тоску по уехавшей Ирине, Лямпин вспомнил Рыжуху. Он проснулся и разыскал телефон ее хозяйки.

«Но если окажется, что и щенков-то в помине нет. Конечно, тех не может быть. Народились новые. И новые могли быть розданы. Будет дожидаться меня эта малахольная девица! Как же!» — снова он затосковал. Решил, что звонить глупо. Провел весь день в блуждании по квартире, перели-

стывании «Мастера и Маргариты». Не утешился. Знаменитый роман показался на этот раз гибридом Гоголя и Зощенко. Изругал себя брюзгой и снобом. Закатился в мастерскую. Едва глянул на полузаконченную работу, как его чуть не стошнило от скучной предрешенности композиции и унылости цветочных пятен. Вернулся домой. И опять вспомнил о Рыжухе.

Об Ирине он старался не думать, так телесно необходима была ему она, так невозможно было представить себе, что сейчас где-то в Токио или Киото, или еще Бог знает в каком городе Японии она оживленно соединяет своих подопечных — инженеров из Краснодара, насупленных из-за языкового барьера, с улыбающимися, смуглыми, в лакированных черных волосах хозяевами — и нетерпеливо перебрасывает с груди на спину медно-красную волну волос, клубящихся крупными завитками. Нет, нет. Он заставил себя вспоминать только Рыжуху. Как она сидела на стуле между ним, Лямпиным, уминающим второй кусок орехового бисквита, и Ириной, потихоньку смакующей кофе. «Она так подходит вашей жене», — услышал он явственно слова хозяйки длинношерстной таксы.

Лямпин набрал номер, который держала в мохнатых и когтистых лапах сова на визитной карточке. Ему ответил тихий и укоризненный голос. Он попросил к телефону Гаяне — так было написано на визитной карточке: Гаяне Акатова. Укоризненный голос принадлежал Гаяне. Молодой Меланхоличной женщине, подруге Ларисы Рогунской. Лямпин напомнил о себе:

— Тот самый художник-гиперреалист, приславший вам слайд Рыжухи.

— Я получила слайд.

— А как сама Рыжуха?

— Вы как будто бы знали, когда нужно звонить. Но, к сожалению, я не готова для разговора... в особенности по телефону.

— Я хотел спросить насчет щенка.

— Вы решились? Через три года?

— Да я все время этого хотел, — солгал Лямпин и ощутил волну ответного дыхания Гаяне, — прямо через провода и мембраны ощутил, как она выдохнула.

— Это так странно и неожиданно. Именно теперь, когда Рыжухи...

Он услышал всхлипывания, а потом сигналы отбоя.

Через полчаса Лямпин припарковал свою «Ниву» у ворот особнячка, на улице Качалова. Гаяне провела его из холла, уставленного пустыми клетками, тарелочками с молоком и травой, из холла, разукрашенного афишами цирковых представлений, в комнату, наружная стена которой фонарем выступала в сад. Фонарь принадлежал сове, угрюмо промышлявшей на исцарапанной когтями жердочке, бывшей когда-то стволом молодого деревца (ольхи — сработало в мозгу Лямпина). С жердочки свисало нечто, вначале неопределенное для него, а потом сложившееся в останки белой мыши, от которой сова не оторвала еще голову и у которой не проглотила кишечник, болтавшийся вместе с головой, как маятник из фильма ужасов.

Вдоль стен зеленью и желтизной переливалась вода, заключенная в кубические пространства аквариумов. Воздух же и какие-то жесткие травы-кустарники, тоже окруженные стеклом, принадлежали живому каучуку ужей, питонов, а может быть, гадюк. И в террариумах присутствовали признаки жертвоприношения прожорливым рептилиям.

— Вы не пугайтесь. У них достаточно пищи. Мыши, лягушки, мотыль. К людям мои воспитанники равнодушны. Я вот только за нее беспокоюсь.

У самой двери (как это он сразу не обратил внимания!) Лямпин увидел маленькую Рыжуху, точный портрет длинношерстной таксы, сидевшей некогда между ним и Ириной на рождении у близняшек Рогунских. Тот же самый, что у обеих прекрасных особей, женщины и собаки, медно-красный, пылающий цвет волос.

— Она даже из миски молоко пока не пьет. Соску даю, — Гаяне подняла щенка, прижала к груди (о, вечный зов материнства!) и всунула в остренькую лисью мордочку Рыжухи красную резиновую соску, надетую на бутылочку с молоком.

«Как у грудных детей, — заметил про себя Лямпин. — С полосочками делений».

— Моя Рыжуха, мать этой малышки, умерла в родах. Я знала, что ей нельзя. Старая. А я пожалела. Думала, в последний раз щенками побалуется. И вот — умерла. Остальных я раздарила друзьям.

— Конечно, Гаяне, маленькую вы себе оставили? А как же иначе! (Зачем приглашала?)

— Нет, нет! Я кровно заинтересована. Понимаете — кровно заинтересована — отдать Рыжуху в хорошие руки.

— А оставить у себя не хотите? — Лямпин решительно ничего не понимал до тех пор, пока не проследил за взглядом Гаяне, прикованным к чудовищному маятнику, свисающему из клюва совы.

— Я не могу оставлять Рыжуху на целый день. Я работаю. Надо им на прокорм зарабатывать. — Гаяне провела рукой вокруг себя.

Начались недели отцовства для Лямпина, который привез маленькую рыжую таксу в свою квартиру, где не только быт, но и точная расстановка мебели и соотношение ковров, ковровых дорожек и циновок предопределялось волей Ирины. Впервые за пятнадцать лет их супружества все пошло кувырком. Рыжуха ползала, где хотела, а потом бегала, куда хотела, оставляя громадные, по сравнению с ее размерами лужи на паркете и пахучие пятна на коврах и дорожках. Кроме того, это маленькое мохнатое существо так жалобно выло, тьявало и повизгивало около тахты, на которой пытался уснуть Лямпин, что он не выдерживал и укладывал Рыжуху себе под бок, всю ночь нашаривая ее влажный носик: дышит ли? Не приспал ли он ее, как некогда присыпали младенцев? Он дошел даже до такой сте-

пени совершенства и прогресса, что окольными путями (не говорить же, в самом деле, что взял ребенка из Дома малютки!) раздобыл особые французские непромокаемые штанишки, которые научился надевать на малышку-таксу — получался настоящий комбинезон. Иначе каждое утро приходилось менять и простыни.

Рыжуха подрастала, грызла кресла и тапки, рывкала на несуществующих врагов, ела и пила из миски.

Прошло два месяца. Лямпин начал выносить Рыжуху на февральский снежок. Она слушалась его присвистываний, ласковых просьб: «Куда ты? Не убегай! Ко мне! Домой!» Окрестные собаки заигрывали с молоденькой таксой, похожей на крадущуюся лисицу, а хозяйки собак ласково заговаривали с Лямпиным.

Он чувствовал себя счастливым. Впервые в жизни он не тосковал по Ирине, хотя подходил уже третий месяц командировки. Нет, конечно же, все не так. Он безумно любил жену, тысячу раз воображал, как она приедет, ворвется в квартиру, обожжет его медно-красным пламенем ненасытных ласк, наведет порядок и восстановит прекрасный быт, который так ценил Лямпин. Он безумно любил ее, скучал, ждал... Но не страдал. Не маялся одиночеством.

Иногда звонила Гаяне. Однажды заходила. Кажется, она не прочь была вернуть себе Рыжуху. Но Лямпин ни за что на свете не расстался бы со своей «дочерью». Так он называл Рыжуху про себя.

Пришла телеграмма. Он поехал встречать Ирину в Шереметьево. Погода не позволила принять самолет. Пуржило. Ветер врывался в ангары, выдувая вариации вагнеровской беснующейся музыки. Он сидел в ночном баре, прихлебывал кофе с коньяком и ловил себя на мысли, что больше беспокоится, как там Рыжуха, одна в квартире почти двенадцать часов, чем, как там Ирина мотается по промежуточным аэродромам.

— Лямпин, какой же ты хороший! Дождался меня. Небось не спал сутки. Тащи шмотки в машину, — целовала и торо-

пила его Ирина, потряхивая рыжей гривой волос, усыпанных каплями растаявшего снега, как торопит наездника затосковавшая лошадь. — Ну скорее же! Я смертельно соскучилась по тебе...

Они мчались по Ленинградскому шоссе, болтая обо всем на свете. Ирина весело ругалась, вспоминая свои, с группой, приземления на аэродромах бесконечной России.

— Все гостиницы забиты. Негде даже, извини, помывться. А ты меня ждал, Лямпин? Или развлекался? А, говори правду! Лариска не приставала? Я все равно пойму. Ты же знаешь, что пойму. Ух ты, Лямпин, Лямпин. Сейчас он оставит машину, и прямо здесь...

Он отвечал ей в том же, полушутливом, заводном тоне, сгорая от радости и нетерпения, но так и не решившись открыться насчет Рыжухи. Почему? Он знал и не знал, почему. Отгонял прочь все, что могло помешать их с Ириной встрече.

Наутро Лямпин познакомил Ирину с Рыжухой.

— Миленькая собачка. И уже просится?

Лямпин понял, что Ирина не хочет отравлять их встречу разговорами о неожиданной для нее новой обитательнице квартиры, но с трудом подавляет раздражение, когда щенок, приткнувшись к ногам хозяйки, разнеживался, переворачивался на спину и просил, чтобы ему щекотали брюшко.

Случалось, что в такие минуты, расслабившись от восторга, Рыжуха делала лужу. Ирина брезгливо выбегала из комнаты, и Лямпин (сначала не поняв серьезности ситуации) шутил, изображал клоуна, с партнером которого произошел детский конфуз. Он понарошку сердился на Рыжуху, а она, понимая все как сплошное веселье, устроенное для развлечения Ирины, залиvisto лаяла и пятясь тянула тряпку.

Однако вскоре — через недельку-две — Лямпин ясно понял, что Ирине не до шуток, а следовательно, не до шуток и ему. Изгрызенные деревянные башмаки, привезенные из Японии, опрокинутый и разбитый флакончик французских

духов, подаренный Лямпиным жене к ее приезду, жирные, коричневые кляксы от лап Рыжухи, восторженно влетающей в квартиру с гулянья (весна выдалась затянувшейся и дождливой), создавали атмосферу напряженности и осады, которая напоминала приезд в семью со сложившимся, спокойным бытом провинциальной тетушки, милой одному из членов семьи, но безумно раздражающей остальных, не связанных с гостьей узами кровного родства.

Вскоре и сама Рыжуха поняла, что нелюбима хозяйкой. Из доверчиво ласкового зверька, тянувшегося к человеку, она превратилась в угрюмое существо, предпочитающее ютиться по углам и закуткам квартиры. Лямпин догадывался, что в его отсутствие Ирина приводила в чувство Рыжуху не только резким окриком, но и рукой.

— Знаешь, Ирка, мне кажется, что Рыжуха боится тебя. Ты ее случаем не бивала? — он сказал-спросил и рассмеялся, предлагая жене клоунаду, так хорошо сглаживавшую когда-то неровности в настроении, грозившие перейти в ссору.

— Да перестань ты паясничать, Лямпин! Не могу я с ней находиться вместе. Понимаешь? Не-мо-гу!

Ни Лямпин, ни Ирина не заметили, как во время их разговора Рыжуха выползла тишком на брюхе из-под кушетки, стоявшей на кухне, и приблизилась к ногам хозяйки. Трудно сказать теперь, что вздумалось щенку — охранять хозяина от рассерженной жены, попытаться понять по переминанию ног, что же происходит — очередная ссора из-за нее или окончательный разрыв. Может быть, бедная Рыжуха захотела сделать последнюю попытку разжалобить Ирину, доказать ей, что все равно собака есть собака, и она, Рыжуха, докажет ей, Ирине, свою бесконечную преданность и верность. Наверно, было именно так. Собака осторожно лизнула голую пятку хозяйки, а потом повыше — там, где стройная щиколотка переходила в длинную голень, покрытую нежными золотистыми волосками.

— Ах ты, мерзость! — вскрикнула Ирина и пяткой удари-

ла в длинный лисий нос Рыжухи. Собака взвизгнула от боли, неожиданности и обиды и вонзилась в самое чувствительное место, в нежный переход от стопы в округлую загорелую икру женщины, теперь уже ненавистной и ненавидящей навсегда.

— Ах, мерзость, мерзость! Вы оба — мерзкие, отвратительные существа! — Ирина рыдала, отвернувшись к стене, а Лямпин метался между кухней и ванной, намачивая полотенце, смывая кровь с ноги жены, замазывая мелкие как бы пробитые иголками ранки йодом.

Не оставалось ничего другого, как посадить дрожащую, скулящую и потерявшую блеск и красоту Рыжуху в сумку, выскочить на улицу, завести машину и вернуть собаку Гаяне.

По-прежнему в комнате царила сова, терзавшая тельца разорванных белых мышей, а в террариумах закручивались и раскручивались каучуковые тела змей.

— Ну вот и прекрасно. Теперь моей Рыжухе ничего не грозит, — сказала Гаяне, целуя собаку между грустно обвисших медно-красных ушей. Приходите, когда соскучитесь, милый Лямпин.

С этого дня жизнь Лямпина и Ирины разладилась, хотя, казалось, никто не мешал восстановлению их прежнего прочного и веселого быта с выходами в театры и творческие дома, с приглашениями друзей или тихими домашними вечерами за книгой или телевизором.

В доме поселилась пустота разобщенности. Лямпин перешел жить в мастерскую, выходящую окнами на Патриаршие пруды. Но и там ему не было покоя. Работа не клеилась. Он каждые полчаса выбегал на лоджию посмотреть, не вывела ли Гаяне Рыжуху. Но дальние прогулки — с улицы Качалова на Патриаршие пруды — утомляли таксу, да и сама Гаяне дала понять Лямпину, что чем реже Рыжуха будет видеть прежнего хозяина, тем будет спокойнее для всех. И для него, Лямпина, в первую очередь.

Однажды, в конце лета, Гаяне просто-напросто не впу-

стила Лямпина к себе, и он прождал на черном ходу несколько часов, пока не увидел, как носится по двору Рыжуха, какая она веселая, пушистая и довольная.

Тогда Лямпин решил продать свою кооперативную мастерскую и поселиться за городом. К тому времени Ирина оформила развод, прислав Лямпину в качестве посредницы все ту же Ларису Рогунскую. Лямпин заявление подписал не читая, а на Ларисины кокетливые манеры не обратил никакого внимания.

С тех пор прошло несколько лет. Лямпин живет в деревне, в избе, арендованной у старухи, переехавшей к сыну — шоферу Художественного фонда, проживающему в Москве, в Свиблово. Какая-то грызущая душу Лямпина страсть толкает его рисовать животных, все больше собак, чаще рыжих, иногда со странными головами, в которых угадываются черты его бывшей жены Ирины. Заказов у него мало. И Лямпин не гнушается подрабатывать объявлениями о кинокартинах и танцах в местном клубе. С недавнего времени он подрядился учителем рисования в сельской школе.

В Москве он появляется редко, но выходы его знаменательны. Он останавливает свою «Ниву», порядком потрепанную и все более напоминающую деревенский «газик», прозываемый в просторечье «козлом», останавливает «Ниву» на улочке, параллельной Тверскому бульвару, поблизости от Пушкинской площади. Выводит из машины лису — на поводке и в наморднике — и тихонько обходит со своей питомицей Тверской бульвар, улицу Качалова, Патриаршие пруды, собирая толпы любопытствующих, по преимуществу мальчишек. Когда лиса тявкает, он успокаивает ее: «Потерпи, Рыжуха, потерпи»...

ДАВИД И ГОЛИАФ

Впрочем, судите сами...

Давида поставили по правую руку от стойки-прохода. Рука стойки обучена пропускать или запирасть. Вместе с другой — левой. Руки с закругленными пластиковыми культиками. Давид дождался маму, держась за черную, блестящую сумку. Вернее — за ручки-вожжи. Сумка стала их с мамой единственным хозяйством. Вроде лошади и тележки одновременно. Маму повели на личный досмотр. После обцеловывания дяди Марка и тети Раи. После тычков в усытые, бородатые и очкастые лица они с мамой прошли мимо первого прохода, где проверяли документы и вытряхивали вещи из сумки: мамину косметику, апельсины на дорогу и еще что-то, кажется, кусок колбасы.

«Такого маленького к сионистам увозите», — вроде бы себе под нос буркнул таможенник, одетый в военный костюм, серый и со звездочками в петличках. Мама промолчала и глянула на Давида: «Мол, и ты не отвечай». Дома, перед самым отлетом из Москвы в Вену, она предупреждала Давида: «Ты потерпи, что бы они ни говорили. Потерпи. Им положено обыскивать людей. Они никому не доверяют. А тем более нам с тобой. Так что наберись терпения. Скоро — свобода».

Он понимал, что такое терпеть. Они с мамой терпели восемь лет. Вернее, мама — восемь. А Давид лет пять. Потому что до трех лет он не знал, что такое терпеть. Что такое терпеть, ждать, верить в чудо.

Сначала они жили втроем: папа, мама и Давид. Он этого не помнил, конечно. Но мама рассказывала. Втроем, пока Давиду не исполнился год. Год — это и много и мало. Для Давида мало. А для папы? Папу потом посадили. Он агитировал отказников выступать в демонстрациях вместе с диссидентами. Потом начал писать листовки. Потом перепечатывал эти листовки на какой-то машине. Мама назвала ее

«ксерокс». Вроде серы. Что-то взрывное. Опасное. Пахнущее огнем и дымом. Тогда папу и посадили. Ему «дали» семь лет тюрьмы и пять ссылки. Давид запомнил эти цифры, потому что они много раз повторялись мамой разным людям — друзьям, отказникам и гостям из Америки, Англии и Франции. Гости стали приезжать. Привозили какие-то вещи. Давиду жвачку и сладости. И мама каждый раз, прежде чем гости доставали подарки, подробно рассказывала историю папы: про агитацию, как его сажали «на сутки», как он попался с листовками, отпечатанными на ксероксе. Хотя мама никогда не касалась самого главного, о чем она иногда говорила с тетей Машей и дядей Володи: как папа попался. Произносились слова: настучал, дятел, гебня и еще что-то в этом роде. Вся сложность произошедшего с папой доверялась тете Маше и дяде Володе, потому что они были не гостями, а своими.

Потом, когда Давиду исполнилось шесть лет, пришло письмо от папы из тюремного госпиталя. Он писал, что сломал бедро и маме разрешено с ним свидание. Мама оставила Давида у тети Маши и дяди Володи и полетела к папе в Сибирь. Давид думал, что мама скоро вернется, а она все не возвращалась и не возвращалась. Он даже стал немного сердиться на папу: почему тот так долго не отпускает маму. «Потерпи, Давид, мама не забыла про тебя. У твоего папы осложнение. Она там нужнее». А дядя Володя катал Давида на своих «Жигулях-шестерке» по Москве и даже в цирк и зоопарк.

Мама приехала к весне, когда в детском саду, куда ходил Давид, прошли почти всю азбуку до буквы «ша». Их готовили к школе. Эта буква особенно мучила Давида. Перед сном, накануне того дня, как вернулась мама, он долго перебирал слова на букву «ша». Так требовала воспитательница. Для закрепления. Давид лежал на диване у тети Маши и дяди Володи, слушал шелест машин, приминавших снег на улице Горького, и вспоминал: шахматы, шины, шпалы, шаги, Шарик. Все выходило грустно и про папу. Папа был шахматис-

том, его увезли в тюрьму на машине с огромными хищными шинами, до папы много-много шпал, по которым надо прошагать Давиду. И особенно захотелось заплакать, когда Шарик — живший вместе с тетей Машей и дядей Володи, лизнул Давида в нос: «Спи давай. Утро вечера мудренее».

Вот тогда-то на следующий день и приехала мама. Давид узнал об этом к вечеру. Почему мама сразу же не пришла за ним в детский сад? Боялась, что сын ее не узнает. Она была в черном шарфе. Вернее, в черной шали. Опять слова на «ша». Почерневшая и высохшая. Давид, конечно же, узнал маму, но не узнавал в ней многого. Раньше — до отъезда к папе в тюремный госпиталь — мама ни минуты не теряла понапрасну. Что-то делала: готовила, шила, печатала на машинке, обсуждала папины дела с друзьями. Теперь она тихо сидела в кресле у окна, выходящего из комнаты тети Маши и дяди Володи на улицу Горького, и перебирала фотографии папы.

Их поселили в пансион фрау Анны. Неподалеку от Вены. В маленьком городке Таблиц. Комнатка мамы и Давида помещалась под самой крышей — в мансарде. Давид лежал, зажмурив глаза, стараясь запомнить все невероятные события прошедшего дня: Шереметьево, таможенников, пограничника, который долго всматривался в его лицо, прежде чем пропустил. «Теперь мы на свободе, сынуля», — сказала мама и заплакала. «А папа...» Она замолчала, но Давид знал, что папа навсегда остался в Сибири. На тюремном кладбище. Чтобы не заснуть с такими грустными воспоминаниями, он прислушался к шуму на шоссе, пробежавшего прямо под их мансардой. Шум получался легкий, веселый, озорной — как шумит каток или водопад.

Наутро они пошли в столовую, где фрау Анна кормила приезжих эмигрантов «континентальным завтраком». Так повторялось вспух за многими стопами. «Континентальный завтрак». Особенно забавно звучал этот «континентальный завтрак», когда о нем рассуждали толстенные тети, приехавшие с юга России или Украины. «Фрау Анна», «контин-

нентальный завтрак» и еще «коллект». Особенно «коллект». Это слово произносилось постоянно. После булочек, кофе с молоком и варенья Давид чувствовал себя особенно весело, еще веселили его эти слова: «фрау Анна», «континентальный завтрак» и «коллект».

Мама подробно рассказывала соседям по столу о том, как они выезжали, о папе, о таможенниках. Теперь можно было рассказывать без опасения. Вокруг сидели друзья — такие же, как они с Давидом, бывшие отказники. За соседним столом сидела шумная компания. Видно было, что эти люди приехали давно, так свободно они чувствовали себя в пансионе. Разговаривали они как-то особенно, сначала почти непонятно для Давида, с неправильным выговариванием множества слов. Когда Давид разобрался в этих словах, ему стало совсем весело. Он стал играть в придуманную игру: расшифровывать их слова.

Самым замечательным среди этой компании показался Давиду здоровенный парень с коричневым жирным лицом, обросшим щетиной. Он давно прикончил свои булочки и кофе с вареньем, а теперь принялся за свиную ногу. Он обгрызал эту свиную ногу, приговаривая смачное словцо: «рулька», «рулька», «эх, рулечка». Но выходило-то у него: «гулька», «гулька», «эх, гулечка». Словно он обгладывал не свиную ножку, а голубя. И макал луковицу в солонку. Самое смешное было то, что его жена, сонная, заплывшая жиром женщина с растрепанными бесцветными волосами, ласково оглаживала парня по спине, повторяя: «Голя, Голя, питайся, Голяшечка». На самом деле, парня звали Гошей. Но жена повторяла: «Голя, Голя, Голяшечка». Давид так увлекся этим зрелищем, что неприлично таращился на парня и его жену.

— Хочешь догрызть? — обратился к нему парень со свиной ногой.

— Спасибо, я сыт, — ответил Давид вежливо. И отвернулся.

Но парню захотелось развлечься. Он обтер сало о выгоревшие тренировочные штаны и подсел к Давиду.

— Тебя как зовут, хлопец? — дохнул парень на Давида луковой отрыжкой.

— Давид.

Давиду всегда приходили в голову разные шутки. Теперь, едва парень назвался Гошей, Давид дал ему прозвище «Голиаф». Ясно, что не вслух. Такой это был громадный и дикий парень. Тетя Маша назвала бы Голиафа «запущенный».

Парень все присматривался к Давиду, вылавливая в своей лохматой башке, затуманенной рулькой, какую-нибудь идею, связанную с вновь приехавшими. Но ничего подходящего не находил и начал от злости на самого себя дышать и отрыгивать громче и громче. За это время фрау Анна, не позволявшая никому без ее разрешения притрагиваться к телефону, выкрикнула:

— Новикофф! Коллект! Бостон!

— Слышь, Роза, эта новенькая-таки Новикова, — гаркнул Голиаф, заготовав от уверенности, что его шутку ждали.

— Или! Я ж сразу усекла, — отозвалась Роза. — Едут на наши еврейские денежки.

— Как вам не совестно! — вмешалась в разговор старушка в букольках, ехавшая к сыну в Чикаго. Мама помогла старушке перетаскивать чемоданы. — Постыдитесь ребенка! — снова выкрикнула старушка прямо в лицо сонной Розе.

— Ну ты, насекомая моль. Цыц у меня! Вам тут свободный мир. Что хотим, то и лопочим, — зыкнул Голиаф на старушку. Она взяла Давида за руку и вывела на улицу.

Ничего этого Давид маме не рассказал. Да и сам забыл про Голиафа и его Розу сразу же, как только мама рассказала про разговор с другом папы Мишей Фуксом и про гарант, который Миша Фукс им вышлет. Гарант — тоже присоединился к новым словам, вроде «фрау Анны», «континентального завтрака» и «коллекта». И совсем, совершенно не вспоминал Давид о Голиафе почти целый день, потому

что было вкусно и весело.

Вкусностей необыкновенных они накупили с мамой в ближайшем универсаме, который назывался «Маркт-Била». Они прошли асфальтированной дорожкой мимо красивых домиков — прямо в лес. Сели на широченный пенек и лопали все подряд: шоколадный крем, бананы, персики и ветчину с вкуснейшим ноздреватым хлебом. А запивали настоящей кока-колой. Ну, может быть, порядок был другой: ветчина с хлебом, помидоры и сладости с фруктами.

— Недаром папа называл меня транжирой, — сказала мама.

— Ты все наши доллары истратила, — испугался Давид.

— Ну что ты, сынуля, всего несколько, — улыбнулась мама.

Это и был тот самый венский лес. Виннервальд. Вовсю распевали большие длинноносые птицы.

— Певчие дрозды, — пояснила мама. Когда они проходили мимо полянки около ручья, мама разыскала черемшу. А на обочине дороги — мяту. Они нарвали мяты и черемши. Мама много знала о лесе. Она «до отказа» училась в аспирантуре при сельскохозяйственной академии.

Певчие дрозды. Голиаф. Что-то вращалось в памяти у Давида. Что-то припоминалось. Конечно же, не связанное с дроздами. Да, да. Он вспомнил. Мальчишки в их московском дворе, примыкавшем к Тимирязевскому парку, хвастались, что из рогатки подстреливали ворон.

— Я целкий! С одного выстрела ворону подбиваю, — особенно заносился Димка Кутов. Давид поехал, так этот Димка Кутов напоминал здешнего Голиафа. Всклопоченный, с замасленными губами, вечно жующими пирожок. Драчливый. Никак не отвязывался от него Голиаф. Даже в венском лесу.

Они вернулись к самому вечеру и, не заходя в столовую, попили в своей мансарде молока с печеньем. Замечательные печенички-пирожные вроде гантелек, облитые по концам шоколадом. Давид заснул сразу же. И не слышал ни

пульсирующего шоссе, ни ночных птиц, ни скрипа отворившейся и захлопнувшейся двери. Он проснулся в полной темноте. Захотелось писать. Он всегда хотел писать после вечернего молока. Дома все было просто, уборная направо от комнаты. А здесь? Жалко было будить маму. Спит неслышно на своей кровати. Устала. Еще хорошо, что не слышала ужасных шуток этого Голиафа. Давид снова уснул, но и во сне вертелся, прогоняя желание. Наконец, он не выдержал, окончательно проснулся и позвал: «Мама, мама. Мне нужно в туалет». Никто не отзывался. Он нашарил левой рукой тумбочку, стоявшую между изголовьями кровати, и шагнул на пол. «Мамуля, проснись, пожалуйста».

Левая рука его обследовала кровать мамы и испуганно прижалась к животу, звавшему Давида скорее найти уборную. Мамы в номере не было, но мысль о том, что с ней что-нибудь случилось, приглушалась мучительной боязнью опозориться именно здесь, в пансионе. Такого с ним не случалось давным-давно. Давид толкнул дверь и выбрался в коридор. Он помнил, что туалет где-то в конце коридора, и побрел, нашаривая дорогу, как слепой, кончиками пальцев скользя по стене. Попалась дверь. Он вспомнил — на лестницу. Дверь запела тоненько и приотворилась. Он уже миновал дверь и чей-то номер, как с лестницы услышал рычащий хохоток и нежный смех мамы. Смех мамы был откуда-то из пасти лестницы. Он так и представил себе маму — тоненькую, в короткой стрижке соломенных волос, смотрящую испуганно из пасти, усыпанной ступеньками-зубами. И вдруг — смех. Значит, кто-то второй, чей хохот засасывал смех мамы, заставлял ее притворно веселиться. Давид готов был поверить, что сама зубастая лестница хохочет и мучит одновременно. Но некогда было ему размышлять. Он двинулся дальше, пока не нашел туалет и не помочился.

Оставалось выручить маму. Он вернулся к лестнице и тихонечко спустился на две-три ступеньки. Смеха мамы и грубого хохота больше не было. «Какой ты фантазер, Давид!»

— повторил было он любимую мамину присказку, как услышал тот же глухой и грубый голос, но теперь не хохочущий, а уговаривающий: «Жисть-то наша жестянка — одна. Надо ж пенку с нее снять, а?» Голос Голиафа. Давид не сомневался: голос отвратительного Голиафа. И мамин — не протестующий, не вырывающийся из этого лестничного, подвального голоса, а мягко отговаривающий: «Ну что вы, Гоша. У вас семья. Роза и дети». Этого Давид не мог перенести. Но и не знал, что ему делать. Никакой опасности для мамы не было. Он оказывался в самом нелепом положении. Подслушивал чужой разговор. Нужно было немедленно возвращаться в номер. Он повернулся и шагнул вверх, понимая, что поступает по правилам, заведенным в их доме, но чувствуя всем нутром, животом, кончиками пальцев, что предает кого-то.

На следующий день мама писала письма в Москву.

Давид читал. Старушка в букольниках, Анна Моисеевна, дала ему книгу, пересказывающую библейские легенды. Очень скоро он наткнулся на легенду о Давиде и Голиафе. Ну конечно! Не зря в нем что-то шевелилось и не давало покоя. Он и раньше слышал эту историю. Может быть, от дедушки Бори, отца папы. Легенду о маленьком пастушке Давиде, поразившем из рогатки злого великана, — Голиафа. Может быть, не из рогатки. Название оружия было другое. Из пращи. Но все равно он ясно представлял, как пастушок закладывает камень в кожаную пазуху рогатки, натягивает резиновые постромки и раз!.. Голиаф падает, насмерть сраженный, на ту самую землю, которую он хотел поработить. Еще с утра Давид присмотрел (сам не ведая зачем) старую резиновую камеру от велосипеда, выброшенную внуком фрау Анны — Гюнтером. В кустах орешника, растущего по другую сторону шоссе, за поляной, выбрал сучок с двумя торчащими из него крепкими веточками. Срезал. Вернулся домой.

— С чем ты возишься, Давид? — спросила мама, не поднимая головы от письма.

— Да так. Играю в войну. Дай мне, пожалуйста, ниток. Вместо кожицы приспособил кусок брезента, валявшийся там же, за домом, где нашлась велосипедная камера.

На следующий день, после континентального завтрака, Давид и мама пошли загорать. В Габлице все загорали в специальном бассейне. Платном. Они валялись в шезлонгах, лизали фруктовый айскрем и время от времени бултыхались в воду. Вода была холодная и голубая — от жирной голубой краски, покрывавшей стенки бассейна, и голубых плиток — на дне. Сначала мама отвлекала Давида от девиц, прохаживавшихся вдоль воды без лифчиков, а потом перестала и посмеивалась: «Такая здесь мода, сынок». — «Здесь на все другие правила, мама?» — спросил Давид, но мама не стала отвечать, а послала его за новой порцией мороженого: «Купи ассорти!»

Когда Давид возвращался (всего-то он отсутствовал минут пять-шесть, потому что австрийские мальчишки и девчонки беспрестанно бегали за мороженым и долго выбирали новый сорт), он столкнулся с Голиафом, спешившим к выходу.

«Зачем он приходил?» — подумал Давид и сразу же забыл о Голиафе, потому что стал смотреть, как девочка в тоненьких трусиках крутит сальто и во время очередного переворота ныряет в воду.

Давид и мама пообедали сосисками, которые мама сварила второпях. Она старалась не задерживаться на кухне, в которой верховодила Роза и где толпилось много еврейских женщин. Среди них и сердобольная старушка, ехавшая к сыну в Чикаго.

— Спасибо, нам хватает и сосисок, — поясняла мама старушке, которая убеждала маму в необходимости «питания ребенка калорийной пищей».

Они пообедали сосисками с помидорами и запили фантой, которую Давид взял к себе в мансарду — высасывать из трубочки. Он сидел на кровати и читал. Новая легенда была про сына царя Давида (пастушок сделался царем)

— Соломона, строившего великолепный храм. Мама пошла на почту отправить письма в Россию. Все говорили: «Россия», «из России», «в Россию», хотя большинство эмигрантов было с Украины.

Давид прочитал кусок легенды, где царица Савская всю навязывалась в жены к Соломону. И хотя она все-таки стала ненадолго его женой, царь Соломон посмеялся над ней: заставил пройти по зеркалу и показать всем волосатые ноги. Это место показалось Давиду совсем непонятным. Зачем брать в жены, если сам насмеяешься над волосатыми ногами? Он даже бросил чтение и пошел погулять, потому что голова разболелась.

Девочка в белых шортиках ехала навстречу на велосипеде и улыбнулась Давиду: «Привет!» — помахал он ей вдогонку. Певчий дрозд взобрался на конек коричневого домика и пропел что-то замысловатое. По обочинам дороги, поднимавшейся к венскому лесу, росли крупные желтые ромашки и верещали кузнечики. Давид погнался за одним, почти настиг, но звук пропал у кромки картофельного поля. Он шагал и шагал вверх; дорога слегка закручивалась, потихоньку вползая в гору. Они шли этой дорогой недавно, дня три назад, вместе с мамой. Автомобили — голубые, белые и перламутровые, скатывались сверху, вылезая на дорогу нивесть откуда. Остался позади заброшенный таинственный дом с фигурками ангелов вокруг окон. Пруд дохнул холодком. Ветряк прошелестел перепончатыми крыльями. Вот и канава, одурманенная мятой. Вот и полянка с черемшой. В кармане брюк похлопывала рогатка. Перестукивались камушки. Давид помнил, что этой дорогой они поднимались на лужок, заросший густой травой. Вот и лужок и ярко-красные маки, как кровинки. Откуда кровинки? Он никого не подстреливал. Вокруг такая тишина: птицы, высокие грабы и вязы, маки.

В дальнем конце лужка, поближе к кускам, Давид увидел голову медведя: коричневую, лохматую, покачивающуюся. Стало холодно, и что-то сжалось в паху. Но в правом кар-

мане брюк лежала рогатка и постукивали камешки-снаряды. Давид тихонько попятился и — с носка на пятку — обогнул лужок. Морды медведя все равно не было видно из-за густой травы, но спина!.. У медведя была безволосая нижняя часть спины, совсем, как у свиньи. И эта нижняя часть спины жила своей жизнью: дышала, раскачивалась, двигалась вверх и вниз, как будто втаптывала кого-то в траву. Давид присел на корточки и тихонько приблизился к диковинному зверю, одновременно заряжая рогатку камнем. Внезапно открылась ему прорешка в траве, и он с ужасом увидел, что голова зверя принадлежит Голиафу, а под самой этой головой стонет, извивается и мечется по траве голова мамы. «Мама! Мамочка!» — закричал Давид, и голова Голиафа полусонно развернулась в его сторону, жадно лоя воздух жирными губами, из которых истекла густая слюна. Давид натянул резинки и выпустил камень из брезентового вместилища. «Ыааыуайаяяяя», — взвопил Голиаф, закрыл ручищами лицо и рухнул. «Мамочка, мамуля. Он убит. Я спас тебя от Голиафа. Бежим скорей!» — плача и смеясь от радости и страха, тормозил Давид маму, вытаскивая ее раздавленное тело из-под корчащегося и воющего от боли повергнутого врага.

1987 г. Ладисполь под Римом